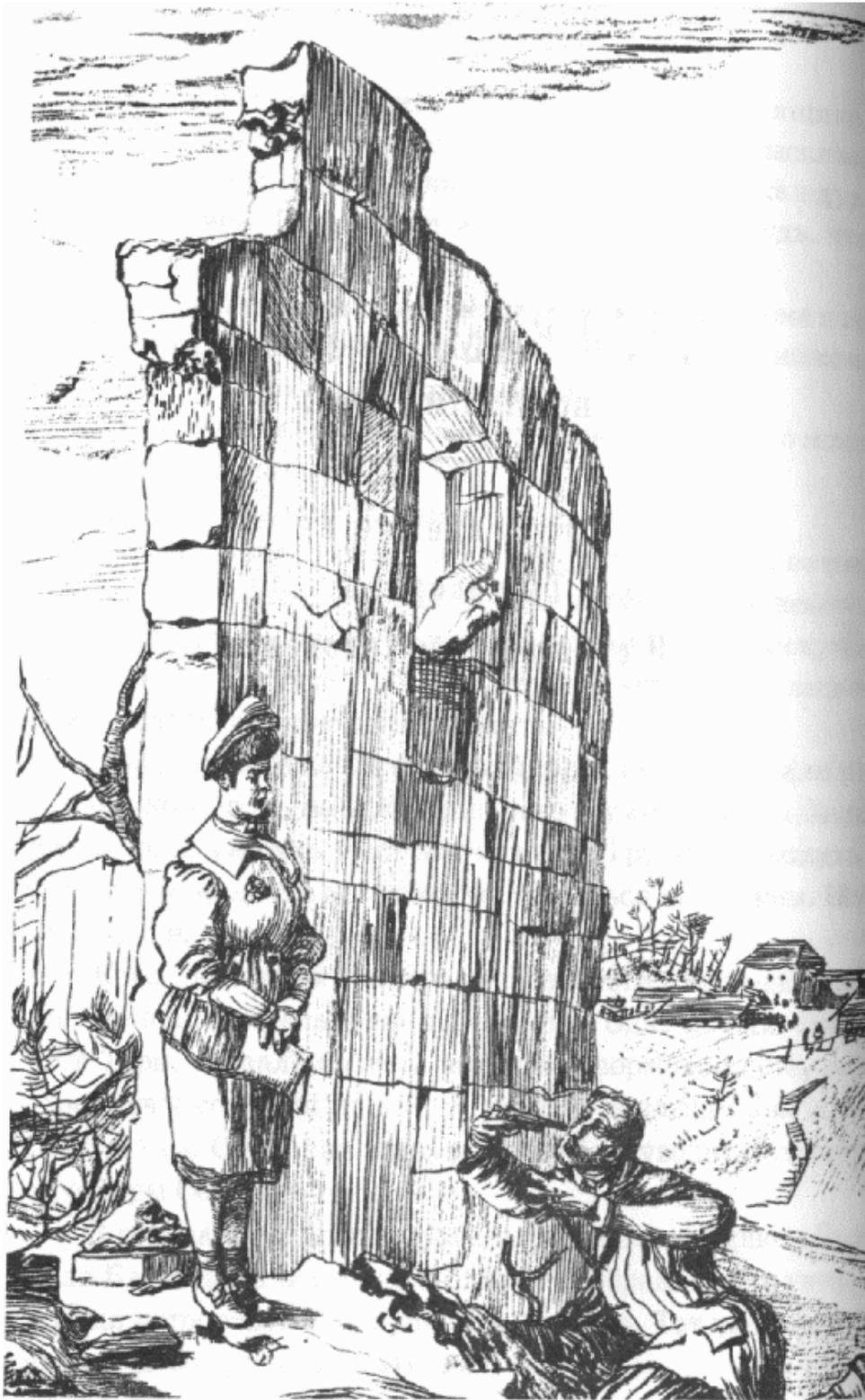


Пуля вместо точки
БОРИС ПИЛЬНЯК

Сужение света

Ты говоришь!

Я стал другим человеком



Сужение света

Суд над Борисом Пильняком начался задолго до того, как его арестовали.

В последние годы в его жизни стал повторяться все чаще один и тот же похожий на кошмарный сон случай. Встречал где-нибудь знакомых, и те удивленно спрашивали:

— Это ты?

— Я... Кто же еще?

— А мы слышали, ты арестован...

А он писал роман. Возился с маленьким сыном, любил молодую жену, сажал на даче в Переделкине деревья — выращивал свой сад. Приходили гости, сообщали об арестах, почтальон приносил газеты — и там клеймились все новые враги народа, среди которых были и его вчерашние друзья. И из разговоров, и из газет вставало все то же:

— Это ты? Ты еще не арестован?

А он работал каждый день, несмотря ни на что, отгоняя страхи, — роман уже близился к развязке. Это был давний замысел — о корнях и судьбах русской революции, да и о самом себе.

Он делал свою книгу из жизни, но и жизнь делала из его судьбы историю, печальную повесть о том, как под гнетом тьмы сужался светлый круг бытия — до лубянской камеры.

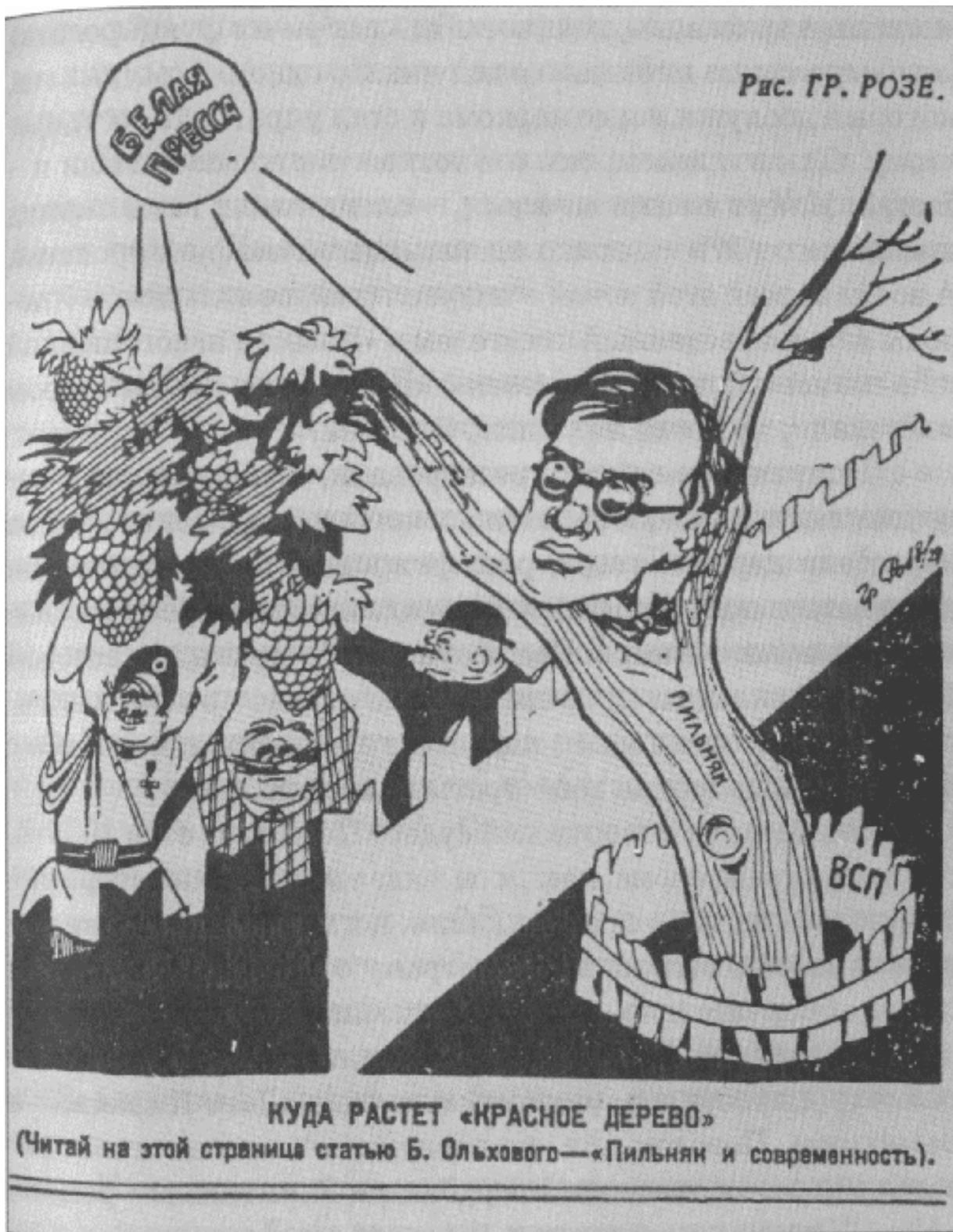
Когда же оно началось, это сужение света? Как случилось, что его яркая звезда закатилась, и он, Борис Пильняк, стал изгоем?

Поначалу он был счастливым в литературе, писательский путь его шел по крутой восходящей, успех, а потом и слава неизменно сопутствовали ему. И это была не шальная, глупая слава, а честная, добытая талантом и трудом. В 20-е годы он — один из самых читаемых и популярных советских писателей, автор десятка томов рассказов, повестей и романов, переведенных на многие языки, блестящий экспериментатор-модернист, мэтр, глава целой творческой школы.

Однако была в советской литературе и другая иерархия — и там он числился всего лишь попутчиком — это пренебрежительное словечко придумал нарком просвещения Луначарский и особенно обожал Троцкий, метавший ярлыки направо и налево, как гранаты. Попутчиками называли тех подозрительных, «нечистых» писателей, которые не состояли в партии и не имели пролетарской родословной, хотя и признавали революцию, — к ним относили Есенина и Бабеля, Пастернака и Замятина, Зощенко, Алексея Толстого и многих других, безусловно мастеров, но не безусловно советских. Общественный вес писателя определялся не его даром, а на идеологических весах. Бабель был объявлен революционным попутчиком, Всеволод Иванов — просто попутчиком, а Пильняк — «попутчиком» в кавычках.

Может быть, тогда все и началось, с этих зловещих кавычек? Или когда Сталин, ведущий персональный учет талантов, дал задание проводникам его линии в литературе обратить на Пильняка особое внимание?

Резон в таком надзоре, конечно, был: писатель одним из первых обнажил в революции ее изнанку. Он увидел в ней не лозунги и марши, а кровавый смерч, беспощадный ураган, вырвавшегося на свободу зверя, «стихийного, как волк». К волку Сталин питал особое пристрастие — недаром имел привычку рисовать в своих бумагах серого хищника. В книгах Пильняка большевики ходят стаей — «кожаные куртки»,



Карикатура на Б. А. Пильняка, опубликованная «Литературной газетой» в разгар его общественной травли 1929

«кожаные красавцы», ходят, чтобы «энегрично фукцировать» (это выражение писатель подслушал у одного коммуниста, который дослужился до наркома и стал управлять государством). «Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили и — баста!.. И черт с вами со всеми, — слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий?!» — вот что значит «энегрично фукцировать». А во главе всей этой новой — полуволчьей, полулюдской — породы встал выведенный писателем в «Повести непогашенной луны» «негорбящийся человек», «номер первый», в котором все узнали, не могли не узнать, Сталина.

Попугчиков сперва дрессировали, подковывали и перековывали, как необъезженных лошадей, и в конце концов перестали церемониться, рассортировали: либо вынудили подделаться под господствующую идеологию, либо отстранили от печатного станка. Под лозунгом обострения классовой борьбы и большевизации литературы талант — эта интеллектуальная собственность — подлежал экспроприации. Либо с партией, либо против нее — третьего не дано.

Решающим в творческой судьбе Пильняка стал 1929-й, год великого перелома, каким он вошел в учебники истории, — начало сталинского самодержавия, когда опустился «железный занавес», отгородивший страну от всего мира, и произошло окончательное закрепощение личности. В литературе великий перелом ознаменовался кампанией, грандиозной по размаху и ярости, получившей название «Дело Пильняка и Замятина». Поводом для нее послужило издание этими писателями своих сочинений за рубежом: Замятиным — романа «Мы», Пильняком — повести «Красное дерево».

Так эти двое, по выражению Замятина, разделили амплуу черта в советской литературе, стали мишенями для общественной травли, организованной властями и с готовностью подхваченной прессой и писательской средой. Когда эта травля достигла апогея, Замятин сделал решительный

шаг — обратился к Сталину и получил разрешение уехать за границу, — ему последнему была отпущена эта высочайшая милость.

Пильняк остался один, без всякой защиты, под массивными, нараставшими ударами критики. Удары были ниже пояса. Надсмотрщики от идеологии зорко следили, чтобы никто не остался в стороне.

В лубянском досье Пильняка собраны публикации «Литературной газеты» и «Комсомольской правды» — как обличающие голоса, как подтверждения его виновности. Что это за критика, ясно даже по заголовкам: «Враждебная агентура в рядах советских литераторов», «Борис Пильняк — собственный корреспондент белогвардейщины», «Вылазки классового врага», «Антисоветский поступок», «Гнусная клевета», «Проверить Союз писателей», «Против пильняковщины», «Уроки пильняковщины»... Литературные разногласия используются как политические обвинения, доносы, а пресса, призывая к расправе, кличет палачей. Само имя писателя становится ругательным словом.

Среди этой безудержной брани есть один отзыв, который потрясает больше всего, особенно когда узнаешь имя автора. Называется он — «Наше отношение».

«Повесть о „Красном дереве“ Бориса Пильняка (так, что ли?), впрочем, и другие повести и его, и многих других — не читал.

К сделанному литературному произведению отношусь как к оружию. Если даже это оружие надклассовое (такого нет, но, может быть, за такое считает его Пильняк), то все же сдача этого оружия в белую прессу усиливает арсенал врагов.

В сегодняшние дни густеющих туч это равно фронтовой измене.

Надо бросить беспредметное литературничанье.
Надо покончить с безответственностью писателей.
Вину Пильняка разделяют многие. Кто? Об этом — особо.
Например, кто отдал треть Федерации¹ союзу Пильняков?
Кто защищал Пильняков от рефовской² тенденциозности?
Кто создавал в писателе уверенность в праве гениев на классовую экстерриториальность?..»

Ох уж это хамское, до жути знакомое: не читал, но осуждаю! Сколько раз слышали мы подобное, уже в наши дни! Менялись только имена нечитанных, но осужденных: Ахматова, Пастернак, Солженицын, Бродский.

В этом наборе зубодробительной лексики дана целая программа массового избиения инакопишущих — чего стоит хотя бы расширительное «Пильняки», предполагающее за одним человеком сонм других правонарушителей, — и все они отнесены к классовым врагам, вина их равна фронтовой измене. А за измену известно что полагается...

Остается назвать автора кровожадной речи. Делаю это с тяжелым сердцем — Владимир Маяковский. Гениальный поэт революции. Ведь не мог же он не понимать, когда писал свой убийственный отзыв, что за этим последует?! Как не мог не понимать и другой классик соцреализма — Горький, который недовольно жаловался секретарю ЦК ВКП(б) Андрееву: «Пильняку прощается рассказ о смерти товарища Фрунзе — рассказ, утверждающий, что операция была не нужна и сделали ее по настоянию ЦК».

¹ Федерация объединений советских писателей (ФОСП), включавшая в себя литературные группировки, «желающие активно участвовать в строительстве СССР».

² РЕФ (Революционный фронт) — литературная группа, которую возглавлял Маяковский.

Алексей Максимович напоминает властям о «Повести непогашенной луны», в которой рассказывается об убийстве в больнице на операционном столе советского полковника. Уж тут Горький мог не беспокоиться — «кожаные куртки» все помнили и ничего не прощали. Каждому свой срок, просто для Пильняка в тот момент его последний час еще не пробил. Но суд уже шел. Граница между тюрьмой и волей стала размытой, условной. Каждый должен был занять свое место в этом судилище — в качестве преступника или обвинителя. Свидетели подбирались лишь для обвинения, защита исключалась.

Пильняк никогда не решался на открытое гражданское неповиновение и предпочитал лавировать, публично каяться, искусно разыгрывая советский энтузиазм, искупать ошибки правоверными сочинениями. Это был вынужденный хитрый способ наладить подпортившиеся отношения с сильными мира сего, форма психологической защиты, не без российского юродства, которым наделены многие герои его книг.

Кампания 1929-го вызвала у Пильняка внутренний надлом, от которого он уже не оправится. Конечно, будет пытаться вернуть себе утраченное положение, попасть в ногу со временем. Но маска, которую ему надели, уже приросла, от нее не избавишься, ему уже не верят.

Воля знать, воля видеть, которую он проповедовал, ослабевает. В высказываниях его появляются новые мотивы: «Каждая эпоха имеет свою мораль».

В 20-е годы он говорил: «Чем талантливее художник, тем он политически бездарнее... Писатель ценен только тогда, когда он вне системы... Мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон...» В 30-е он клянется в верности партии и социализму и славит Сталина: «Поистине великий человек, человек великой воли, великого дела и слова».

В 20-е годы он считал: «Человеческий суд не должен, не может быть столь строгим, как суд человека над самим собой» — и призывал к милосердию. В 30-е требует наказания «врагов народа» еще до вынесения приговора суда и призывает «уничтожить каждого, кто посягнет на нашу Конституцию».

Тут уж не слепота чередуется с прозрением, как это было раньше, а демонстративный цинизм, недаром после беседы с ним другой попутчик — Михаил Пришвин — «понял о пустоте всех, клянувшихся в верности партии».

И в книгах его появляются новые герои — двурушники, конформисты, положившие жизнь на общественную полку не столько ради высоких идей, сколько просто ради спасения — и страдающие, деградирующие от этой раздвоенности. Писатель шел вместе со своими героями.

Он писал роман. А светлый круг его жизни все сужался.

Поэт Константин Большаков, арестованный чуть раньше Пильняка, рассказывал на следствии, как тот начал метаться, предчувствуя близкую расправу:

— Пильняка тогда прорабатывали за прошлые грехи, за помощь семье Радека во время ссылки, дружбу с Воронским, книги, написанные по его внушению. Пильняк волновался, ездил по разным местам, выступал в Союзе писателей с покаянием. Мне он говорил, что у него из-под ног уходит материальная база, его хотят добить, он этого больше всего боится. Но я видел, что он боится и чего-то другого...

Показания Большакова (они приложены к делу Пильняка) доносят до нас атмосферу тех лет — горячую, наэлектризованную, пронизанную подозрительностью и страхом, доводящую людей до грани помешательства или самоубийства, — это тоже был способ перековки, переделки человеческих душ:

— Пильняк потащил к себе на дачу. Я заговорил, когда мы остались одни, о процессе объединенного троцкистско-зиновьевского центра. Пильняк говорил, что дело вовсе не в троцкизме, троцкиста могут пришить теперь каждому, каждый, думающий сейчас не по передовице «Правды», уже троцкист, он говорил: «Мы с тобой тоже троцкисты». Потом, опять вернувшись к этой теме, заговорил, что все его приятели — троцкисты, не только потому, что были в оппозиции, но еще и потому, что не сгибаются под общий аршин.

Я свернул на тему о своей обреченности, говорил, что в случае войны я должен буду или сам искать смерти, или меня расстреляют, потому что мне, дворянину и бывшему офицеру, не поверят. Пильняк молча и мрачно слушал, ничего не говоря.

Вскоре у меня появились признаки болезни, от которой я пролежал три месяца в постели. После болезни я прятался от людей, от слухов, от разговоров, но слухи приносили приятели, они же вызывали на разговоры. Аресты пугали и вызывали глухую, неистовую злобу. Думал остервенело, что у человека отнимают право сомневаться.

Пильняк твердил, что всех переарестуют, что подходят к нам, даже не скрывал, что сам боится ареста, что его бояться в Переделкине чуть ли не все. Мы жили и питались слухами, один фантастичнее другого. Я ограничил круг людей, с которыми встречался, до минимума. В голове был какой-то чудовищный кошмар. Я боялся пить, чтобы подсознательное не открылось бы в состоянии опьянения...

— Переживания ваши нас не интересуют! — оборвал следователь.

Сейчас, когда обнаруживаются и предаются гласности все новые преступления сталинского режима, все более страшные свидетельства о злодеяниях, совершенных над миллионами, нам, которых десятилетиями воспитывали на

стереотипах, нестигаемых героях, с пением «Интернационала» идущих на казнь и без всяких сомнений «пускающих в расход» противников, — таким нам порой трудно понять истинную меру страданий, а значит, испытать сострадание к человеку как таковому, живому, единственному, хотя только такие и существуют в природе. К нему — отринутому ото всех, поставленному один на один перед всемогущим государством.

Только изнутри того мира, психики, состояния и возможно увидеть все в истинном свете. И лишь с подготовленной душой, обеспеченной запасом милосердия и мудрости, можно понять нашу недавнюю историю, увидеть не безликую бойню, а трагедию каждого загубленного человека.

Пока Пильняк дописывал свой роман, сотрудники НКВД писали пространную справку на его арест.

В постановлении о реабилитации Пильняка 1956 года сказано: из материалов дела не видно, что послужило основанием к его аресту. Прокуроры, занимавшиеся реабилитацией, смотрели невнимательно — или не хотели заглядывать вглубь: документ, обосновывающий арест, я нашел, хотя и не в следственном деле, откуда он был почему-то изъят, не в КГБ, а в самой прокуратуре, в папке «Надзорного производства» бывшей жены писателя — Ольги Щербиновской, актрисы Малого театра. Она, как и его последняя жена Кира Андроникашвили, тоже актриса, была арестована и отправлена в лагерь по одной-единственной причине — близости к крамольному писателю.

Из знакомства с этим документом, имеющим скромное название «Справка», стало ясно, что многие обвинения, прозвучавшие в залах Союза писателей и редакционных кабинетах, переключались на стол следователя прямо из протоколов писательских собраний — в протоколы дела. Кабинеты

редакций, Союза писателей и кабинеты Лубянки иногда мало чем отличались, и люди, сидевшие в них, могли бы меняться местами.

Вот отрывок из отчета о расширенном заседании редакции и актива журнала «Новый мир», состоявшемся 1 сентября 1936-го. Ответственный редактор журнала Иван Гронский говорит Пильняку:

— Ты бросил реплику, что ты отмежевываешься от врагов в своих произведениях. В каких? В «Повести непогашенной луны» или в «Красном дереве»? Эти произведения написаны по прямым заданиям троцкистов. Сознательно или несознательно ты направлял их против революции — другой вопрос...

А вот как это выглядит в справке на арест: «Тесная связь Пильняка с троцкистами получила отражение в его творчестве. Целый ряд его произведений был пронизан духом контрреволюционного троцкизма („Повесть непогашенной луны“, „Красное дерево“).

И далее на том же собрании Гронский ставит в вину Пильняку то, что он оказывал материальную помощь сосланному Карлу Радеку:

— Это тяжелым камнем висит на твоей биографии, и ты, поскольку сейчас называешь себя непартийным большевиком, этот камень должен снять.

В справке: «Во время ссылки Радека и других троцкистов Пильняк из личных средств оказывал им помощь».

В полной мере использованы здесь и показания, выжатые у писателей, арестованных к тому времени и находящихся в руках следствия: Аросева, Губера, Большакова, Зарудина³. У одного — о дружбе Пильняка с троцкистами, у другого — об антисоветском окружении, у третьего —

³ Аросев А. Я. (1890–1938), Губер Б. А. (1903–1937), Зарудин Н. Н. (1899–1937) — прозаики. Расстреляны.

о террористических намерениях, у четвертого — о шпионаже. А тут еще подарочек, из Испании — и туда достает рука Органов! Там удалось арестовать Андреса Нина⁴, генерального секретаря партии испанских троцкистов, и в его архиве нашлись письма Пильняка, в которых он сообщает еще об одном известном троцкисте — писателе Викторе Серже⁵, сосланном в Оренбург, — вот ведь какой охват — от Барселоны до Урала! Ну и, конечно же, старания стукачей, как без них, — антисоветская физиономия Пильняка, озлобление против партии зафиксированы и агентурным путем. Чего же еще — больше чем достаточно!

Под скромным названием «Справка» уже изложена вся программа будущего следствия, и уже предreshен приговор, по этой выкройке и будет шиться дело, дальше — техника: припереть арестованного чужими показаниями к стенке, вытрясти из него какие-нибудь подробности, умело оформить протоколы и заставить подписаться. Как говорил большой спец по этим делам Лаврентий Берия, «дайте мне кого угодно, и через двадцать четыре часа я заставлю его признаться, что он — английский шпион».

«Необходим арест и обыск», — подвел итог составитель справки, начальник 9-го отделения 4-го отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) капитан Журбенко¹⁴⁹⁶

Миновало лето 37-го. И Пильняк дописал роман, перепечатал собственными руками. Роман назывался «Соляной амбар» и кончался словами: «Вы слышали меня?! Только с революцией, только с вами!»

⁴ Нин Перес Андрес (1892–1937) — руководитель ПОУМ, рабочей марксистской партии Испании, находившейся под влиянием троцкистов. Убит агентами НКВД.

⁵ Серж Виктор (Кибальчич В. Л.) (1890–1947) — французско-русский писатель, общественный деятель. Участвовал в Гражданской войне в России, работал в Коминтерне. Выступал против сталинской политики. Был дважды арестован, отправлен в ссылку. В 1936 г. выслан из СССР.

⁶ Журбенко А. С. (1903–1940) — в 1936–1938 гг. нач. 6-го (затем 9-го) отделения 4-го отдела ГУГБ НКВД, «ведавшего» писателями. Расстрелян.

И тут они явились. Герои писателя, «кожаные красавцы», сошли со страниц его книг, чтобы добить автора.

Дача Пильняка сохранилась до сих пор, она в самом центре Переделкина. В доме по соседству жил тогда другой Борис, Пастернак, бок о бок, калитка между ними вообще не запиралась. И в этот день — 28 октября — Пастернак заходил, поздравил Пильняков — их сыну исполнилось три года.

Было уже поздно и темно, когда возле дома остановилась машина. Явился знакомый чекист, почему-то весь в белом, несмотря на осень. С приглашением к наркому Ежову:

— Николай Иванович срочно просит вас к себе. Ненадолго. Часика через два будете дома...

А ночью ввалилась целая толпа. Один, по фамилии Вепринцев, предъявил жене Кире Георгиевне ордер на обыск и арест. Изъяли: два кинжала, пишущую машинку «Корона» (тоже оружие, для писателя!), переписку и, конечно, рукописи...

Все последнее «творчество» Бориса Пильняка уместилось в голубенькой казенной папке — деле № 14 488 ГУ ГБ... В самих звуках уже слышится — «губить», «гибель»... «ХРАНИТЬ ВЕЧНО» — «Х» и «В» напоминают другие, священные буквы...

Ты говоришь!

ФИО? Пильняк-Вогау Борис Андреевич. Год и место рождения? 1894-й, город Можайск. Национальность? Из немцев Поволжья. Партийность? Беспартийный. Специальность? Писатель-беллетрист. К какой общественной группе принадлежите? Свободная профессия...

Отобрали галстук и ремень. Арестованный был передан в руки следователя — Давида Абрамовича Райзмана.

2 ноября, на пятый день ареста, они встретились. Райзман предъявил своему подопечному обвинения: контрреволюция, террор, шпионаж... В тот же день Пильняк писал покаянное письмо Ежову: «Я ставлю перед собой вопрос, правильно ли поступило НКВД, арестовав меня, — и отвечаю, да, правильно...»

Заявление отпечатано на машинке, подпись выведена четко. Позиция выбрана сознательно и, несомненно, угодна следствию, иначе бы не предоставили для документа машинку. Поначалу поражает явный этот абсурд: полное, безоговорочное признание своей преступности, клевета на себя; потом понимаешь — это плата, за которую обещана жизнь, сделка — покайся, повинись, помоги нам, и мы, может быть, поможем. Доказывать собственную вину будет сам арестант — это давало ему надежду избежать лишних пыток и мучений и облегчало работу следствия.

НКВД работал заведенно, как конвейер, — менялись арестованные, следователи, менялись наркомы — он «энегрично фукцировал». Через полтора года на тот же конвейер попадет другой писатель — Исаак Бабель и тоже будет писать письмо, только уже не Ежову, а Берии.

Комплекс затравленности, вины, психология жертвы воспитывались в человеке заранее, исподволь, так что в конце концов, когда его арестовывали, он уже часто был измучен, раздавлен, сломлен. На конвейер поступал в виде полуфабриката. Надо было лишь довести до кондиции, дожать.

«У меня остался только мозг, но и он туманится. Я говорю с человеком, и вдруг человек проваливается, и вместо человека передо мной сидит какое-то страшное, кровавое государство» — так говорил герой рассказа Пильняка Иван Москва.

Да, писатель «проживал» своих героев.

Моя жизнь и мои дела указывают, — писал он Ежову, — что все годы я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И если арест будет для меня только уроком, то есть если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным, воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах.

Будет неправильно, если я признаю себя троцкистом, им я не был, я смыкался с троцкистами, как смыкался и с другими контрреволюционерами, я смыкался со всеми теми, кто разделял мои контрреволюционные взгляды...

В наших разговорах в те годы я и мои единомышленники сходились на том, что политическое положение в стране очень напряженно, гнет государства над личностью, над творчеством создает атмосферу не дружества, но разъединение и одиночество, и уничтожает понятие социализма... Подробные показания о характере и времени этих разговоров я дам в процессе следствия.

Так как я ничего не хочу таить, я должен сказать еще — о шпионаже. С первой моей поездки в Японию в 1926 г. я связан с профессором Йонекава, офицером Генерального штаба и агентом разведки, и через него я стал японским агентом и вел шпионскую работу. Кроме того, у меня бывали другие японцы, равно как и иностранцы других стран. Обо всем этом я расскажу подробно в процессе следствия.

Целая государственная машина работала, делая из живого человека выдуманного, собирательного, как на портрете по описаниям — «разыскивается преступник». Это был невиданный по масштабам эксперимент. И методы тут применялись разные: кого оболванивали, кого сгибали, ломали,

НАРОДНОМУ КОМИССАРУ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
СОЮЗА ССР

Николаю Ивановичу ЕЖОВУ.

От ²всеходящего -
ПИЛЬНЯК-БОГАУ Б.А.

З а я в л е н и е

Я ставлю перед собой вопрос правильно ли поступило НКВД, арестовав меня, - и отвечаю, да, правильно.

Моя жизнь и мои дела указывают, что все годы революции я был контрреволюционером, врагом существующего строя и существующего правительства. И, если арест будет для меня только уроком, т.е., если мне останется жизнь, я буду считать этот урок замечательным воспользуюсь им, чтобы остальную жизнь прожить честно. Поэтому я хочу Вам совершенно открыто рассказать о всех моих контрреволюционных делах.

Будет неправильно, если я признаю себя троцкистом, им я не был, я смыкался с троцкистами, как смыкался и с др. контрреволюционерами, и смыкался со всеми теми, кто разделял мои контрреволюционные взгляды.

Я выпускаю годы от написания повести "О непогашенной луна" этого, моего первого контрреволюционного документа до "Красного де..."
показывает мои...

- 4 -

агентом разведки и через него я стал японским агентом и вел японскую работу.

Кроме того, у меня были другие японцы, равно как иностранцы и др. стран. Все всем этом я расскажу подробно в процессе следствия.

Борис ПИЛЬНЯК.

Борис Пильняк

" 1 " ноября 1937 года

Заявление Б. А. Пильняка наркомку внутренних дел СССР Н. И. Ежову. 2 ноября 1937 года

а бывало, человек брался переделывать себя сам или делал вид, что переделывает. И тогда клеветал на себя. Одна из героинь пильняковского романа «Двойники» до того отдала себя обществу, что даже говорила о себе в третьем лице, равнодушными словами, как о музейном экспонате.

Но бывало и так, что люди шли на самооговор по другой причине: зачем зря страдать, если все равно расстреляют. Напишу что надо — отстанут, хоть не будут пытаться. Даже сами авторы советских методов дознания — старые кадры чекистов, когда их переселяли из кабинетов в камеры той же Лубянки, часто сразу же просили бумагу и признавались безоговорочно во всех преступлениях, а случалось, и сами писали протоколы допросов за следователя, выстраивая вымышленные диалоги. Возможен и такой ход мысли: главное — выжить! Надо лгать сегодня, чтобы выжить, и завтра сказать правду.

Прошло больше месяца, прежде чем арестованного вызвали на допрос. Зато длился он много часов. Допрашивали двое — Райзман и его шеф, уже дослужившийся до майора Журбенко.

Не будем по возможности прерывать документ. Нельзя только забывать ни на минуту, что протокол писался рукой следователя, что документ этот — подделка, что в нем правда сознательно перемешана с ложью, специально, чтобы уже не разделить. В нем все лгут, по разным причинам, и трудность в том, чтобы из этого моря лжи извлечь соль истины. И мы добудем ее, если сумеем отделить факты от их ложного освещения.

Итак, 11 декабря 37-го. Пильняка приводят на допрос. Следователи начинают разоблачать его издалека, с первых лет революции. И Пильняк произносит свою вынужденную исповедь:

На путь борьбы против Советской власти я стал в первые годы революции. Во время военного коммунизма, во время напряженной классовой борьбы я сидел в Коломне, занимаясь писанием рассказов, а по существу отсиживался от того, что происходило в стране, считая, что «моя хата с краю» и «посмотрим, что из этого выйдет». Эти ощущения на очень долгие годы были решающими в моей человеческой и писательской судьбе.

Симпатизируя «Скифам»⁷ в 1920 г., я объединился с группой «Серрапионовы братья»⁸, не принадлежа к ней формально, я разделял все ее литературные тенденции и политические стремления. Во главе этой группы стоял Евгений Замятин... До этого, еще в 1919 г., я вступил в члены Союза писателей, который объединял писателей таких же настроений, какие были и у меня, то есть людей, окопавшихся от революции...

В 1922 г., осенью, ряд писателей были приглашены в Москву телеграммой от Каменева. Каменев предложил нам организовать писательскую артель, издательство и альманах. В разговоре с Каменевым, по существу говоря, никаких политических требований нам не было поставлено, мы были сделаны самостоятельными хозяевами в издательстве... Через некоторое время в кабинете Каменева было проведено первое организационное собрание, на котором были даны установки о том, что мы можем писать и печатать что угодно. Главная задача писательской артели заключалась в том, чтобы вокруг себя собирать всех вновь приходящих писателей. Фактическим руководителем

⁷ «Скифы» — литературная группа 1917–1918 гг., в которую входили Р. Иванов-Разумник, А. Блок, А. Белый, С. Есенин, Н. Клюев и другие известные писатели.

⁸ «Серрапионовы братья» — группа молодых писателей Петрограда (Н. Тихонов, М. Зощенко, В. Каверин, Л. Лунц, К. Федин, Вс. Иванов и другие), выступавшая в начале 1920-х гг. за обновление литературы и за примат искусства над идеологией.

артели был тогдашний редактор «Красной нови» Воронский. Наши контрреволюционные стремления, в частности мои и Замятина, полностью совпадали с настроениями Воронского, с его литературной философией. Это и определило дружбу с Воронским на долгие годы...

Прервемся все же, переведем дух. Что контрреволюционного в этих стремлениях? Писать и печатать что угодно? Или — собирать писателей? Слова «контрреволюционный», «антисоветский», «троцкистский» и прочие в этом роде тут, как и во множестве других мест, можно вынести за скобки, за пределы здравого смысла — и тогда обнаружится степень соавторства следователя, станет ясно, как делалось дело.

В эти же годы Воронский направил меня к Троцкому, — показывает Пильняк. — Помню, что у Троцкого были также Маяковский, Пастернак... Троцкий говорил с нами об интернационализме в литературе, о том, что для него безразлично, где делать революцию, — в Москве или в Риме, а главным образом Троцкий принимал все меры к тому, чтобы очаровать...

Ближайшими друзьями я в то время считал своего литературного учителя Андрея Белого и, как уже говорил выше, моего старшего товарища Замятина. Еще со времен военного коммунизма самым близким мне человеком был поэт Пастернак...

О дружбе Пильняка и Пастернака на Лубянке прекрасно знали — из донесений сексотов. В справке на арест Пильняка приведены кое-какие сведения об этом, полученные агентурным путем: «В 1933 году Пильняк стремился втянуть в свою группу Б. Пастернака. Это сближение с Пастернаком нашло свое внешнее выражение в антипартийном некрологе по

поводу смерти Андрея Белого, а также в письме в „Литгазету“ в защиту троцкиста Зарудина, подписанном Пастернаком и Пильняком. Установлено также, что в 1935 г. они договаривались информировать французского писателя Виктора Маргерита (подписавшего воззвание в защиту Троцкого) об угнетенном положении русских писателей, с тем чтобы эта информация была доведена до сведения французских писательских кругов. В 1936 г. Пильняк и Пастернак имели несколько законспирированных встреч с приезжавшим в СССР Андре Жидом, во время которых тенденциозно информировали Жида о положении в СССР. Несомненным является, что эта информация была использована Жидом в его книге против СССР».

Так что за Борисом Пастернаком Лубянка тоже пристально следила. И могла в любую минуту арестовать. Говорят, все уже было готово, но когда доложили Сталину, он отмахнулся:

— Оставьте в покое этого небожителя!

Подробно рассказывает Пильняк на допросе об истории своей самой знаменитой и самой скандальной книги — «Повесть непогашенной луны». Тираж журнала «Новый мир», который в 1926-м напечатал повесть, конфискован ГПУ прямо в типографии, к тем же, кто успел получить журнал, приходили сотрудники Органов и под расписку повесть изымали. Главный редактор «Нового мира» Полонский за потерю бдительности был снят со своего поста. Как же — Пильняк осмелился вынести на всеобщее обозрение святая святых — партийную кухню, показал, как «негорбящийся человек», «номер первый» приказал любимому своему полководцу, герою Гражданской войны, лечь на операционный стол и устроил так, что он с этого стола уже не поднялся...

Теперь мы узнаем о том, как создавалась книга, — из уст самого автора:

Идею написания этой повести мне подал Воронский. Во время писания я читал ее тогдашним моим товарищам, читал, в частности, и Агранову. Агранов рассказал мне несколько деталей о том, как болел Фрунзе. Затем у меня было собрание, обсуждавшее повесть. Присутствовали: Полонский — редактор «Нового мира», Лашевич — которого я пригласил как военного специалиста... Все они одобрили повесть, а Полонский нашел, что нужно сделать предисловие к повести, которое тут же и было написано...

Запрещение этой повести совпало как раз с моим пребыванием в Китае. Вернувшись оттуда, я обратился к Скворцову-Степанову, главному редактору «Известий», чтобы он решил мою судьбу. Скворцов-Степанов отнесся ко мне очень сочувственно, в беседе со мной сказал, что этот рассказ является талантливым произведением, обещал свою поддержку и устроил свидание с Рыковым. Рыков посоветовал мне написать покаянные письма, что я и сделал.

В последующем Радек выразил мне свое сочувствие и оказал материальную помощь. Нужно прибавить, что Радек читал в рукописи эту повесть и даже принял участие в ее редактировании... Радек был первым, кто стал со мной говорить прямо и резко против руководства партии. В беседах со мной Радек утверждал, что Сталин отходит от линии Ленина, в то время как он, Радек, Троцкий и другие их сторонники были настоящими ленинцами, и что снятие их с руководящих постов есть искажение линии Ленина, в связи с этим, говорил Радек, неминуема борьба троцкистов со сталинцами...

И Радек и Рыков к тому времени уже были репрессированы как враги народа, поэтому так настойчиво следователь связывал Пильняка именно с ними. Был репрессирован и Александр Воронский, центральная фигура в литературном

процессе 20-х годов, сыгравший такую важную роль в жизни и Пильняка, и Бабеля, и многих других писателей той поры.

Когда Воронский стал организовывать группу «Перевал», — показывал Пильняк, — мы договорились о том, что я официально к «Перевалу» не буду примыкать, однако должен буду принимать активное участие в его работе, Я приходил на расширенные собрания «Перевала», дабы продемонстрировать свою солидарность с ними. К этому периоду относится второе мое троцкистское произведение. В 1928 г. вместе с Андреем Платоновым я написал очерк «Че-Че-О», напечатанный в «Новом мире», который заканчивается мыслью о том, что паровоз социализма не дойдет до станции «Социализм», потому что тормоза бюрократии расплавят его колеса...

В «Че-Че-О» об этом сказано несколько иначе: «Если над машинистом поставить контролера, то паровоз истории сгорит, волочась на зажатом тормозе». Пророческие слова — так он и сгорел, наш паровоз, не дойдя до социализма! Пильняк и Платонов предупреждали об этом еще в самом разгаре марша энтузиастов, — но кто тогда их услышал? Разве что НКВД?

В те же годы был разогнан первый, еще свободный, беспартийный Союз писателей, история которого нам почти неизвестна. Тем интересней свидетельство Пильняка:

В Союзе писателей существовало настроение, что было бы хорошо, если бы литература получила отставку от партии. Обсуждая на наших нелегальных собраниях положение в литературе и в партии, мы всеми мерами, прикрываясь политикой внепартийности, чистого искусства и свободного слова, пытались доказать гнет цензуры,

зажм литературы со стороны партии... Для характеристики СП надо сказать, что в нем не было партийной ячейки. В 1929 г. я был избран председателем СП, и в том же году он как антисоветская организация был ликвидирован...

В это время я написал наиболее резкую антисоветскую повесть «Красное дерево», изданную за границей. «Красное дерево» оказалось водоразделом для литераторов, с кем они: с Советской ли властью или против...

Наряду с прекращением деятельности СП стала разваливаться и группа «Перевал». Воронского выслали в ссылку. Шла проработка «Красного дерева», мой авторитет среди писателей был подорван. Тогда мы с Воронским решили создать новую литературную организацию и создали кружок «30-е годы». Мы утверждали, что литература угнетена, что те задачи, которые ставятся перед литературой, невыполнимы, что писатели привязаны на корню и имеют право писать «отсюда досюда», что в литературе идет упрощенчество. Активными участниками собраний «30-х годов» были Зарудин, И. Катаев⁹, Андрей Платонов, посещал собрания раз или два Пастернак, считавшийся по духу приемлемым. «30-е годы» как литературная группа весной 1930-го распалась, но часть людей осталась в дружбе и общалась до самого последнего времени, помогая друг другу, бывая вместе...

Союз писателей был преобразован в Союз советских писателей. Подавляющее большинство писателей ушло в этот новый СП, но осталось на тех позициях, на которых они были до реорганизации. Когда Пастернак пошел работать в оргкомитет ССП, я всячески нападал на него, и на этой основе у меня с ним даже осложнились отношения. В силу моих, тогда особенно злобных отношений к политике

⁹ Катаев И. И. (1902–1937) — прозаик. Расстрелян.

партии и к руководству, я бойкотировал ССП и поэтому не выступал на съезде писателей... Съезд мне казался лицемерной бюрократической затеей, а выступления писателей на нем — лживыми и двурушническими... На протяжении ряда лет все мои общественно-литературные стремления сводились к желанию «воздвигнуть», но из этого ничего не выходило. Я терпел неудачу за неудачей, в конечном итоге большинство писателей, поняв антисоветскую сущность моих стремлений, отошло от меня...

Здесь Пильняк делает попытку взять вину на себя, выгородить своих друзей-писателей, многие из которых в то время тоже уже были арестованы или жили под угрозой ареста. Но совсем обойтись без фамилий нельзя, — и каждая новая невольная пополнила ряды «контрреволюционеров». А уже следствие умело стравить даже друзей. На оперативном совещании в НКВД 3 февраля 1935 года замнаркома внутренних дел Яков Агранов так определял методы расследования: «Наша тактика сокрушения врага заключалась в том, чтобы столкнуть лбами всех этих негодяев и их перессорить. А эта задача была трудная. Перессорить их необходимо было потому, что все эти предатели были тесно спаяны между собою».

Так пресекалась всякая свободная мысль, так проводилось избиение, удушение литературы здесь, за «железным занавесом». Зорко следили и за тем, чтобы живое, правдивое слово не просочилось сквозь этот занавес.

Особая тема на следствии — связь Пильняка с зарубежными писателями. Его хорошо знали в Европе, Америке, Японии — и не только по книгам: он много путешествовал по свету, водил знакомство с литературными знаменитостями. Среди них были фигуры, самой судьбой поставленные между

Россией и Европой, восточной революцией и западной цивилизацией. Таков, например, Виктор Серж (Кибальчич) — гражданин мира, служивший французской литературе и русской революции и отторгнутый ею как троцкист, выброшенный обратно в Европу и закончивший жизнь в Мексике.

В своих «Воспоминаниях революционера» Серж приводит фразу Пильняка, произнесенную однажды:

— В стране нет ни одного мыслящего взрослого человека, который не задумывался бы о том, что его могут расстрелять.

В показаниях на следствии Пильняк подробно рассказывает о дружбе с Виктором Сержем. Беседы их были вполне откровенны: об ужасах коллективизации, о терроре, о том, что в стране такая обстановка, при которой невозможно ни жить, ни писать.

— Мы пришли к одной мысли, — говорит Пильняк, — что политическое положение чрезвычайно тяжелое, ощущается невиданный гнет государства над личностью, отсутствуют минимальные права выразить свое мнение, что мы живем сейчас на осадном положении. Социализма нет, так как социализм подразумевает улучшение отношений между людьми, а у нас культивируются волчьи отношения...

В результате наших встреч мы с Сержем пришли к выводу, что необходимо проинформировать западную общественность о положении в России.

Такая возможность вскоре представилась: из Парижа приехал Панаит Истрати, с большой помпой встреченный советским правительством как европейский революционный писатель. Румын по национальности, он писал на французском и был тогда очень популярен. Ромен Роллан называл его «балканским Горьким». Он разъезжал по всей стране, окруженный вниманием партии и Органов, озабоченных

тем, чтобы на Западе появилась еще одна хвалебная книга об СССР.

Пильняка познакомил с Истрати Виктор Серж. Поначалу Пильняк не хотел с ним знакомиться: ему нечего делать с писателями, которых так легко покупают в Советском Союзе. Но Серж все же привез гостя.

— Вы не хотели встречаться со мной? — спросил тот. — Именно поэтому я и приехал. Почему вы не хотели меня видеть?

— Потому что вы смотрите на нашу страну не так, как следовало бы, а глазами официальных лиц, принимаете слишком много поздравлений и слишком часто благодарите. Положение у нас вы оцениваете ложно, и если напишете о нем, это будет пряничная сторона, а не действительность...

— Я хочу знать правду, — сказал Истрати.

И Пильняк с Сержем начали открывать ему глаза.

Рассказали, в частности, как о примере беззаконий о «деле Русакова» — старого рабочего, отца шестерых детей (старшая из дочерей его была замужем за Виктором Сержем, а младшая — за другим французом, Пьером Паскалем¹⁰, который уже десять лет жил в России), незаконно, в результате провокации выселенного из своей квартиры в Ленинграде. Эта история — как модель советской жизни — поразила Истрати, он даже ездил потом вместе с Сержем к председателю ЦИК СССР Калинину добиваться справедливости.

Вскоре в Париже вышла книга Истрати в трех томах, написанная в сотрудничестве с Виктором Сержем и Борисом Сувариным, — очень яркая, вызвавшая большой резонанс. Советская «Литературная энциклопедия» тут же заклеила

¹⁰ Паскаль П. (1890–1983) — французский ученый-славист. Примыкал к большевикам, входил во французскую коммунистическую группу в Москве.

Истрати: «Оказался наглейшим ренегатом, его книги — тупые, контрреволюционные пасквили».

— Таким образом, вы явились основным источником предательской информации против Советской страны? — спросил Пильняка следователь.

— Да, — покорно согласился Пильняк, — я повинен перед советским народом в том, что путем переданной Панаиту Истрати предательской информации пытался дискредитировать Советский Союз в глазах интеллигенции Запада...

Итак, в предательстве Пильняк уличен. Но этого мало. Теперь нужно сделать его террористом.

В протоколе появляется запись о писательском собрании у Воронского осенью 1932-го, на котором якобы возник план покушения на Сталина: «Воронский произнес речь, смысл которой сводился к тому, что в стране и партии создан такой режим, при котором невозможно жить, что если партия по отношению к троцкистам применяет террор, то троцкисты также должны ответить террором. Воронский тогда так разгорячился, что закричал: „Стрелять, стрелять надо в Сталина!“».

Дальше зафиксировано, какие преступные разговоры вел Пильняк с друзьями-писателями — Пастернаком, Фединым, Артемом Веселым¹¹:

Пастернака я знаю много лет... Когда однажды приехали к нему за подписью под письмом от Союза писателей с требованием расстрела Тухачевского¹² и компании, Пастернак прятался, чтобы не подписать этого письма,

¹¹ Веселый А. (Кочкуров Н. И.) (1899–1938) — прозаик. Расстрелян.

¹² Тухачевский М. Н. (1893–1937) — герой Гражданской войны, маршал. Расстрелян.

и говорил мне: «Это насилие над душами», — и тут же спрашивал, не пойду ли я к жене Эйдемана¹³ выразить ей свое сочувствие.

С Фединым я особенно близок. Мы с ним часто вели разговоры о невыносимом режиме в партии, о том недоверии, которым окружен человек. Этот режим нами рассматривался как террор... Если у Федина сначала было возмущение против Троцкого, «этой обезьяны, которая сидит за границей и добивается власти в России, не спрашивая нас, хотим ли мы сидеть под его пятой» (со слов Федина), то аресты, непонятные и необъяснимые, обернули Федина против вождей партии — Сталина и Ежова, как исполнителя воли Сталина. Мы сходились на том, что партии нет, что есть один Сталин, что положение в партии и в стране неминуемо грозит катастрофой. Федин боялся войны с немцами, «когда эта семидесятимиллионная масса, голодная и убежденная в своем нацизме, железным сапогом раздавит Россию»...

Уже перед самым арестом у Пильняка был такой разговор с Артемом Веселым:

— Ну вот ты, Артем, революционер-большевик, член партии, как же ты чувствуешь себя в партии?

— Волком...

— Ну если ты настоящий революционер и большевик, как же ты допускаешь, чтобы в твоей партии ты был волком?

— Это большой разговор, без водки не выговоришь, — раздраженно сказал Артем и помолчал. — Хочу в партию, а мне говорят — лезь в подворотню...

¹³ Эйдемман Р. П. (1895–1937) — военный деятель, комкор, писатель. Расстрелян.

И снова помолчав, в раздумье добавил:

— Хоть бери револьвер и иди с ним.

— На кого?

— Ну, на кого? Конечно, на Сталина!..

Артем Веселый был решительным, смелым человеком, у которого слова редко расходились с делом. После этой беседы Пильняк понял, что его друг тоже доведен до последней черты отчаяния.

(Артем Веселый был арестован в один день с Пильняком, в том же самом Переделкине. Допрашивали их почти одновременно, и даже следователи совпадали. И тоже — покаянное письмо Ежову.)

Однако никаких фактов о терроризме пока нет, одни разговоры. Следователь наседает:

— Мы располагаем данными, что вы практически подготавливали теракт. Признавайтесь!

И подследственный признается во всем, что от него требуют. Да, он вместе с друзьями задумал убить Ежова. Как? Проникнув в его квартиру через знакомых женщин или прямо на улице. Почему же не исполнили? Из-за бдительности НКВД, аресты сорвали эти злодейские планы.

Затем следователь дотошно расспрашивает Пильняка о его знакомствах с иностранцами, причем ответы записывает таким образом, что каждый иностранец становится шпионом, каждая встреча — явкой, а простые разговоры — передачей информации.

Признание под рукой следователя превращается в пародию. Получается, что японским шпионом Пильняк сделался не ради идей или денег, а просто так, без всякого объяснения и давления, добровольно и бескорыстно, — «стал разведчиком среди определенных слоев интеллигенции». И снабжал он вражескую разведку такими секретами: информация об

общественной жизни в СССР, о литературе и группировках в Союзе писателей, сообщал даже фамилии писателей...

Ну где, в какой стране писателей так высоко ценят! Ну просто какой-то тайный орден, за проникновение в секреты которого борются все разведки мира!

Допрос окончен. Фактов не добыто никаких, но следствие это, как видно, и не волнует: все равно конвейер сработает без осечки, автоматически. Лишь бы хоть как-то соблюсти формальности. Но и тут — ляпы, не все гладко.

Оригинала протокола в деле нет, хотя и должен быть. Перед нами — машинописный экземпляр, подписанный Пильняком. Но что-то нечисто с подписью. Она поставлена внизу каждой страницы и под некоторыми ответами (не всеми) и местами настолько не похожа на подпись Пильняка, настолько искажена, что возникают сомнения в ее подлинности. Или она сделана в очень тяжелом состоянии? Или это подделка? В одном месте ответ почему-то подписан дважды, в другом подпись прерывает фразу на середине, невпопад — так, будто ставилась заранее, на чистом листе, на котором потом печатался текст.

26 марта 38-го — второй и последний допрос. Райзман добивает показания. Теперь речь о поездке Пильняка в Америку в 1931 году. Арестованный рассказывает, а следователь формулирует, развивает, дополняет. И вот результат:

— Открыто против СССР и партии я выступать не мог, но я превратил свою поездку в поездку туриста, смазав то общественное значение, которое ей хотели придать друзья Советского Союза...

Большого криминала выжать не удалось.

Следственное дело Пильняка — смесь правды, неправды и полуправды. Здесь и искренняя боль писателя за тяжкое

положение страны, нищету и бесправие народа, неприятие деспотизма и цензурного гнета над литературой. Если все эти мучительные раздумья выделить и напечатать отдельно, действительно получится обвинение, но не Пильняку, а тоталитарному строю, который его судил.

И в то же время — наговоры на себя и других, фантастические выдумки, спровоцированные или выжатые следствием, доходящие до абсурда. Такое следствие — узкий тоннель с рельсами и настигающий сзади, готовый расплющить буфер — беги! В иные моменты вся нелепость дела выходит наружу, даже кажется: уж не намеренно ли арестованный клеветает на себя, чтоб очевидней стал этот фарс? Очевидней — для кого? Для объективного суда? Для понимающих потомков? Но цена каждого слова непомерно высока — на карту поставлена жизнь, и не только своя.

И конечно же — следователь, с его казенными, пропагандистскими трафаретами. Иначе как объяснить, что блестящий писатель начинает говорить вдруг языком полицейского чиновника? Стоило между двумя безобидными словами вставить «троцкиста» или «террориста» — и фраза принимала зловещий смысл. И побольше таких слов — кашу маслом не испортишь, протоколы допросов буквально нашпигованы ими. Так из критики делается контрреволюция, из мятущегося художника — заклятый враг, в этом стилисты из НКВД поднаторели.

На допросах неизбежно всплывают имена, иногда подсунутые самим следователем — для него это новые, потенциальные преступники. Расходятся круги. А потом снимается слой за слоем и, в первую очередь, те, кто духовно чужд, кто мыслит, протестует, способен сопротивляться.

Фамилии тасовались, как карты в колоде, перебрасывались из дела в дело, были там свои тузы и свои шестерки.

Часто в вопросах следователя уже давалась какая-то обойма имен, которая потом, в протоколе, переносилась в ответ подследственного. И наверняка про очень многие свои показания Пильняк мог бы сказать следователю знаменитое, евангельское: «Ты говоришь!»

И все же за строчками протоколов слышится мотив сопротивления, неприятия сталинщины. И с этой точки зрения преступление Пильняка и его друзей перед режимом очевидно. Они были по самому естеству своему противниками деспотии, как ни пытались с ней ужиться. И волчья власть рано или поздно уничтожила бы их — как несовместимую с собой породу.

Дело Пильняка — очевидное свидетельство, что Сопротивление было, пусть не открытая организованная борьба с тоталитарным строем, но все же оппозиция, чреватая взрывом. Сопротивления Словом.

Я стал другим человеком

20 апреля Пильняк получил копию обвинительного заключения и узнал, что предан суду Военной коллегии. Наверняка был и инструктаж, его накачивали: не ломать версию следователя, добытую таким трудом, доиграть трагикомедию.

На следующий день был суд. Военная коллегия заседала в таком составе: председатель — все тот же бессменный армвоенюрист Василий Васильевич Ульрих, члены — диввоенюрист Зарянов и бригавоенюрист Ждан, секретарь — военюрист 1-го ранга Батнер¹⁴. Заседание продолжалось с 17.45 до 18.00 — пятнадцать минут!

¹⁴ Зарянов И. М. (1894–1975) — член ВК ВС СССР. В 1955 г. «за нарушение соц. законности» лишен звания генерал-майора юстиции; Ждан П. Т. (?) — член ВК ВС СССР; Батнер А. А. (1902-?) — старший инспектор ВК ВС СССР. В 1945 г. снят с должности и уволен.

Председатель объявил, чье дело подлежит рассмотрению и по каким статьям. Секретарь доложил, что подсудимый доставлен и что свидетели не вызывались. Затем судьи «удостоверились в самоличности» подсудимого, который никаких ходатайств и отвода суду не заявил.

Секретарь торопливо огласил обвинительное заключение с целым букетом подписей — от Райзмана до прокурора Союза Вышинского¹⁵.

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил Ульрих.

— Да, полностью, — говорил Пильняк. — И полностью подтверждаю свои показания. На следствии я рассказал всю истинную правду и добавить ничего не имею.

Судебное следствие закончилось. Роль сыграна до конца.

Последнее слово подсудимого. Каждая фраза заранее продумана, взвешена. И кажется, это уже обращение не столько к трехглавой гидре суда, сколько поверх него — к способным слышать:

— Я очень хочу работать. После долгого тюремного заключения я стал совсем другим человеком и по-новому увидел жизнь. Я хочу жить, много работать, я хочу иметь перед собой бумагу, чтобы написать полезную для советских людей вещь...

И вот приговор — равнодушное канцелярское клише, куда вписывались миллионы горячих, трепетных жизней:

— Именем Союза Советских... бывшего писателя... участником антисоветских, троцкистских, диверсионных, террористических организаций... подготавливал теракты... товарища Сталина и Ежова... шпионскую работу в пользу Японии... к высшей мере наказания — расстрелу. Приговор окончательный и подлежит немедленному исполнению.

¹⁵ Вышинский А. Я. (1883–1954) — прокурор СССР в 1935–1939 гг., государственный обвинитель на политических процессах.

ПРИГОВОР

Союза Советских Социалистических Республик
Военная Коллегия Верховного Суда Союза ССР
в составе:

Председательствующего Армейского юриста *С. В. Гаврилы*

Членов: Дивизионного юриста И. А. ЗАРЯНОВА и
Бригадного юриста С. П. ДАН

При секретаре военном юристе 1 ранга *Л. Л. ШИШИН*

открытом судебном заседании, в городе Москве

апреля 1938 года

Военная Коллегия Верховного Суда СССР, рассмотрела дело
по обвинению *ПИЛЬНИК-БОГА* Бориса Андреевича, 1894 г.р., быв. писателя,
в преступлениях, предусмотренных ст.ст. 58-6, 58-8, 58-11 УК РСФСР.

Предварительным и судебным следствием установлено, что *Пильник-Бог*
с 1934 года *активно*
участвовал в *антисоветской*
террористической организации и организации
с активными мероприятиями в *Радском, Сер*
Борисовском и др. и по заданию
в *городе* *исполнял* *след* *антисоветские*

Приговор Военной коллегии Верховного Суда СССР по делу Б. А. Пильняка (Богая). 21
апреля 1938 года

Маленький желтый листочек: «Приговор приведен в исполнение... Начальник 12-го отделения 1-го спецотдела лейтенант Шевелев».

В «Литературной энциклопедии» сказано, что Пильняк умер в 1937 году, семье его сообщили — в 1941-м... Все ложь! Теперь можно сказать точно — год 1938-й, 21 апреля.

Дальше в деле уже другая бумага, свежее — реабилитация. В 1956 году Военная прокуратура установила, что Пильняк был арестован без санкции прокурора, что показания Большакова и Артема Веселого, как и самого Пильняка, опровергаются результатами проверки. Он был осужден необоснованно, с использованием противозаконных методов следствия, почему дело о нем и прекращается за отсутствием состава преступления.

Среди лиц, дававших отзыв о Пильняке для реабилитации, был Иван Гронский, тот самый редактор «Нового мира», стеливший ему дорогу на Лубянку и теперь бывший тут как тут — при его посмертном освобождении. И хоть теперь Гронский признавал, что Пильняк не был врагом народа, но продолжал говорить о своем «более чем настороженном отношении» к писателю, что «должен был, естественно, проверить всех сотрудников журнала, особенно тех, кто был связан с троцкистами, и, в первую очередь, разумеется, Бориса Пильняка», называл его книги клеветническими. И даже много позднее после реабилитации писателя считал, что «Повесть непогашенной луны» — «идеологическая диверсия». Ни тюрьма, ни концлагерь, через которые прошел и сам Гронский, не открыли ему глаза, всю жизнь, до самой смерти повторял одни и те же шаблонные фразы — и так ничего и не понял!

Гражданская реабилитация Пильняка свершилась, а до творческой — возвращения к читателю его книг — было далеко. Для этого понадобилось еще двадцать лет.

После ареста его сочинения были изъяты из всех библиотек и книжных магазинов, за хранение их тоже грозила кара. Только с 1976 года стали опять выходить его книги. Целое поколение выросло без них, и ужас в том, что мы начинаем узнавать его биографию, как и многих других писателей, чье Слово было репрессировано, — с конца!

При изучении дела был сделан и запрос об изъятых рукописях. «Не сохранились...»

Как распутать давно и намеренно запутанный клубок? Во всех этих событиях, судьбах, голосах звучит полифония самой жизни, большого романа.

«Я хочу жить, много работать, я хочу иметь перед собой бумагу, чтобы написать полезную для советских людей вещь...»

Свой последний роман Борис Пильняк уже никогда не напишет. Тот роман, который он прожил, но не пережил. Светлый круг его жизни сузился до черной точки пули.